

# Ирина Степановская

Умение наблюдать,  
видеть сердцем  
и рассказывать  
увлекательные  
истории ставит  
прозу Степановской  
в один ряд  
с лучшими образцами  
женской прозы

замирая  
от счастья





Ирина Степановская  
**Замирая от счастья**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Степановская И.**

Замирая от счастья / И. Степановская — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-089658-5

Биолог Нестеров, вынужденный всю жизнь скитаться по маленьким городкам, чтобы спасти жену-немку от несправедливого преследования НКВД, и писательница Наталья, выручающая своего сына, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, от несправедливых обвинений. Что объединяет этих людей, живущих в разных исторических временах? Самоотверженная любовь, обостренное чувство долга и, конечно, человечность — та светящаяся точка, которая выводит героев из темного лабиринта тяжелых жизненных обстоятельств.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-089658-5

© Степановская И., 2018  
© Эксмо, 2018

## Содержание

Замирая от счастья	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Ирина Степановская

## Замирая от счастья

### Замирая от счастья

...На собраниях Петр Яковлевич сидел на своем постоянном месте с краю, в десятом ряду. Раньше, до войны, большая аудитория заполнялась сотрудниками института до самых последних рядов. Теперь же привычное Нестерову место оказалось галеркой – зал опустел больше чем на две трети, и женщины составляли подавляющее большинство. Вот и сейчас в первых рядах сплошь виднелись платки, платки, поднятые воротники зимних пальто, изредка – ближе к президиуму – серенькие каракулевые шапочки. Цигейковый «пирожок» старого академика – директора института, потертой коричневой кошкой лежал на краю длинного, крытого зеленым сукном президиумного стола.

Нестеров давно и хорошо был знаком с академиком. Когда-то он даже учился у него – слушал лекции еще до революции в Петербурге, а потом год или два работал у него на кафедре. Это уже в Перми, после Гражданской. Затем пути их на время разошлись – будущий академик из-за жены уехал в места, где было посытнее и потеплее, а вот теперь, в войну, судьба свела их снова и забросила еще дальше в глубь страны, на север, за Уральский хребет.

Нестеров знал, что может не слушать, о чем говорится с трибуны. Накануне академик уже вызвал его и предупредил о назначении. Это назначение было совершенно непрошеным и не желательным, и Нестеров просил не назначать его, но академик смотрел на него внимательно большими, мутными, слезящимися глазами и молчал. А потом сказал, что хотя все понимает, но назначить, кроме Нестерова, некого. И Петр Яковлевич сидел теперь в десятом ряду на своем месте с краю и вяло вслушивался в голос до сих пор, несмотря на войну, бойкой дамы – секретаря ученого совета. Зинаида Николаевна, которая с удовольствием стояла на трибуне в роли докладчика, отложила листки, по которым делала доклад, взяла со стола картонную папку и развязала тесемки. Воротник ее каракулевой шубы растянулся, показывая на шее яркое пятно павловопосадского шерстяного платка.

– ...И в заключение, товарищи, коротко оглашаю приказы по институту от сегодняшнего числа.

Приказы теперь сначала зачитывали, а уж потом вывешивали на доску – в коридорах из-за плохого освещения все равно было ни черта не видеть.

Нестеров думал о том, что через полчаса к нему на лекцию придет всего пятьдесят или, может быть, уже даже тридцать студентов. Это вместо довоенных двухсот пятидесяти человек обоего пола. Он уже давно перестал следить за численностью студентов на лекциях, просил только старост групп ставить галочки в специальном журнале посещаемости. Люди уходили на фронт, и он снова и снова отмечал, что в аудитории их становится все меньше. Он думал о том, дали ли электричество на его этаже. Нужно было вскипятить перед лекцией стакан кипятка, чтобы от холода не сел голос. Кипяток он заливал в старенький немецкий термос, клал его в мешочек (мешочек сшила жена – Прасковья Степановна) и прятал в стол, а вблизи студентов не доставал, чтобы никто не разглядел, что термос немецкий. Он размышлял о том, что, несмотря ни на что, нужно добиться, чтобы через несколько месяцев, когда наступит май, ему дали бы в помощь несколько человек для продолжения научной работы и выделили деньги. Чтобы послали его с этими людьми в учебное хозяйство, где он снова посеет вику – совершенно новую бобовую культуру, которая оказалась питательней для крупного рогатого скота, чем даже пшеница, которую всегда на этом богом забытом Северном Урале выращивали с трудом.

Он думал о чем угодно, только не о жене и не о еде – на эти две темы было давно им наложено табу...

...Ната отодвинула в сторону ноутбук, прошла в кухню, включила французский чайник. Что там у нас вкусенького есть в холодильнике? Ага, вчерашний лимон кружочками на блюде и половинка вафельного тортика в коробке. Вот еще кастрюля с борщом. Ната заглянула в кастрюлю – осталось меньше чем третья часть. Кость торчит в середине красной овощной жижи, как шпиль неоготического собора. Оранжевые кружочки застывшего жира плавают на поверхности. Надо будет перед тем, как разогреть, вытащить их. А то все будут недовольны, и в первую очередь она сама, что все слишком калорийное.

Ната хмыкнула, усмехаясь. Надо еще разморозить фарш, чтобы к вечеру успеть сделать котлеты.

Она заглянула в коробку с тортом. Когда же мужики успели все доесть? Наверное, вечером, когда она уже ушла спать. Ну да, у нее разболелась голова. У нее всегда болит голова, когда что-нибудь не получается. Вот вчера не получался рассказ. Из-за этого в общем-то она и купила торт. Пошла в магазин за морковью – и купила. Ну не только для себя, конечно. И Димка, муж, после работы присоединился, и Артем из университета приехал голодный и с порога закричал:

– Мам, что поесть?

Ната вчера борщ успела сварить перед самым их приходом. А второе не стала делать. Все сидела за этим рассказом, который не получался. Что она – каторжная, что ли, в один день делать первое и второе? И так все худеют. У Димки порядочное брюшко в сорок пять лет, Артем ходит на фитнес и без конца стонет, что ему нужно мясо, а она вечно делает какие-то пирожки. Ну да, Ната знает, что пирожки – очень вредно, но она без пирожков не может. Во-первых, под пирожки с чаем лучше пишется, а во-вторых, она помнит, как бабушка рассказывала, что она тоже девчонкой все худела-худела, а потом – бац! Война. И все стали сначала худые-худые, а потом опять толстые. Только не жирные, как хрюшки, а водянистые, отечные от голода. Потом еще долго все болели, но ничего, все-таки выжили. Некоторые только умерли. Кто послабее. Но бабушкин свекор, Натин прадед, академик, умер уже в пятьдесят четвертом, через девять лет после войны. И не от болезни – от старости. Бабушка тогда уже сама была замужем. И как раз в этом году родился Натин отец. Его и назвали в честь академика Борисом. А Натаино дядю, его младшего брата, Ната не знает, почему назвали Петром.

Ну что же, Ната сделала глоток из фарфоровой чашки. Хороший все-таки этот зеленый чай с жасмином. Откусила кусочек торта, вздохнула... Ладно, надо писать дальше. Раз худеем – фиг вам, а не пирожки.

...Академик был уже стар, даже очень стар. Но, несмотря на старость, его длинная, дынная голова – лысая, с небольшими темными пятнами на темени и висках – сидела на шее ровно и гордо. Коричневый пиджак с широкими, по краям слегка оттопыренными лацканами и орде-ном с левой стороны уже порядочно засалился на рукавах, но менять его на парадный костюм академик не хотел. В парадном костюме он хотел бы, чтобы его похоронили, и поэтому берег единственную оставшуюся черную пару. Что он себе еще позволял в этом промозглом, продуваемом зале – это намотать на шею кашне. А под пиджак надевал вязаную кофту. Очень мерзли руки и ноги, но академик не хотел, чтобы кто-то видел, что он мерзнет. Графин со стаканом стояли на столе, как и в прежние времена, но, хоть льда в графине не было, воду никто не пил. Любая простуда слишком опасна. Да и пить не хотелось.

Приказов сегодня оказалось немного. Зинаида Николаевна сняла варежку, взяла из папки последний листок. Народ на сиденьях зашевелился, приподнялся.

– ...Приказом от 6 февраля 1943 года на должности, вместо ушедших на фронт наших товарищей, назначаются следующие сотрудники...

Люди перестали двигаться и подняли головы. Денег за замещение должностей не платили, но нужно было знать, к кому и как обращаться по работе.

– ...Вместо героически погибшего на фронте товарища Вайсберга М. С. заведующей институтским гаражом назначается Кадышева Людмила Егоровна – старший преподаватель кафедры сельхозтехники...

Академик на секунду подумал, что погибшего на фронте младшего научного сотрудника Вайсберга нужно было бы назвать полным именем, и он должен будет об этом сказать Зинаиде Николаевне после собрания. Зинаида же Николаевна между тем продолжала:

– ...За сохранение посадочного фонда картофеля назначаются следующие товарищи: ответственный – доцент кафедры ботаники Нестеров П. Я., в помощь ему лаборант этой же кафедры Губкин И. И., уборщица Землякова Настасья Андреевна. На этом у меня, товарищи, все. Вопросы есть?

Академик снова задумался, специально или нет Зинаида Николаевна по имени и отчеству назвала только уборщицу – чтобы подчеркнуть свое уважение к рабочему классу или так вышло случайно, и решил ничего не говорить ей про погибшего на фронте Морозова. До того как уйти на фронт, Морозов проработал в институте только год и к тому же был беспартийным.

У зала вопросов не было. Зинаида Николаевна посмотрела на академика. Тот кивнул.

– Собрание окончено. Вы свободны, товарищи. – Она немного даже с сожалением сошла с трибуны.

Окоченевшие люди стали медленно подниматься, гремели откидными крышками тройных, как в кинотеатре, стульев. Медленно расходились. Женщины растирали руки, лица. Редкие мужчины, кто еще присутствовал в зале, доставали папиросы – у кого имелись. Академик, по-прежнему четко неся свою лысую пятнистую голову, не стал надевать при людях вытертый «пирожок», прихрамывая пошел со сцены к дверям.

«Если не сохраним картофельный фонд, меня расстреляют, – думал он. – Сельхозтехнику-то сохранить легче. Запер ее в гараже, охрану назначил. Если что – милиция пусть разбирается».

Молча он пропустил в дверях случайно оказавшегося тут же Нестерова, молча пожал ему руку и пошел по коридору тяжелой, упрямой походкой к себе в кабинет. А Петр Яковлевич – тоже без головного убора, в худеньком, накинутом на плечи пальтишке – двинулся по лестнице на третий этаж, к себе на кафедру.

Прасковья Степановна, будет очень недовольна, думал он, что я стану каждый день задерживаться в картофелехранилище. То, что его расстреляют, если фонд сохранить не удастся, он тоже хорошо понимал, но об этом старался не думать. Это теперь стало третьим его табу.

Настоящий голод наступил на Урале зимой сорок третьего года. Конец сорок первого и начало сорок второго люди еще держались на старых запасах. У кого-то была крупа, у кого-то мука. Меняли, продавали... Квашеную капусту – на фланелевые штаны. Муку – на ботинки. Были случаи, что даже еще поддерживали друг друга. Небольшую помощь давали огороды. Весной сорок второго картошку на них еще успели посадить. Урожай выкопали рано – чтобы не украли. На огородах росли еще щавель, крапива, сныть... При частных домах были и кустарники – смородина, малина, крыжовник. По ночам дежурили, в огородах и садах спали. Укрывались плащами и ватниками – у кого что было. Счастье, если находилась плащ-палатка. Грибы в лесу вымели подчистую, ягоды не уродились. Но все-таки сорок второй пережили. Не все, конечно, пережили, но смерти от голода не были еще обыденностью. А вот до сорок третьего с запасами не дотянули. В магазинах, кроме хлеба, давали по карточкам жмых – прессованную шелуху от семечек. Ее подмешивали кто во что имел или жевали просто так. Муки-то

уже не было давно, как и крупы, и всего остального. Не было уже и картошки. Так оказалось, что сажать весной нечего. Оставался лишь неприкосновенный фонд в сельскохозяйственном институте, его трогать нельзя ни в каком случае. Самые лучшие старые сорта или молодые, вновь выведенные, необходимые для мирной жизни. Для следующих поколений.

А в сорок третьем наступил настоящий голод. Не лечебное голодание, на которое время от времени садятся желающие похудеть и с которого время от времени срываются на пирожки и пирожные. Нет, Голод с большой буквы. С опуханием и отеками – раздутыми водянистыми лицами, слоновьими ногами, сердцебиением на каждом шагу, тяжелейшей одышкой.

Думать о еде нельзя было ни в коем случае, это было важно, чтобы выжить. Но люди все равно думали. Думали по-разному. Некоторые бредили едой, сходя с ума. Рассказывали, что объедаются всякими вкусностями. Другие думали только о победе. Третьи – о поражении, но только в одиночку, ни с кем не делясь. Всем приходилось тяжело, а кому-то просто неведомо. Хоть ложись и помирай. И вот теперь уже ложились и помирали. Особенно дети. Те, кто послабее, или те, кто заболел.

Ната подвигала затекшими ногами, взглянула на часы. Когда пишешь – время течет незаметно. Надо идти в магазин, что-то купить на ужин, оплатить счет за электричество и за антенну и положить деньги на телефон. Черт, сегодня она успела написать так мало! То ли погода плохая, то ли не выспалась... Ната встала, взглянула в окно. Какое-то на душе тяжелое, тягостное чувство. Почему-то сегодня пишется из рук вон плохо. Она застрекает на каждой фразе. К тому же сосет под ложечкой. Неужели гастрит? Ужасно. Если придется идти к врачу, заставят глотать кишку... А ей так некогда! Нет, надо посидеть на диете, и все пройдет. И не пойдет она в магазин, а сварит куриный бульон с вермишелью. А борщ засунет назад в холодильник, завтра доедят. Курицу из бульона подаст отдельно на блюде с зеленым горошком. Сама горошек не будет, хоть очень его и любит, похлебают только бульон. А мужики пусть едят курицу. Котлеты она сделает вечером, когда все лягут спать. На десерт – чай с вареньем. Варенье в холодильнике – вся верхняя полка заставлена. Она сама прошлым летом варила вишню и абрикосы, да мама еще дала яблочное и малиновое. Но ведь одним вареньем муж с сыном не обойдутся. Запросят чего-нибудь еще. Ната встала и проверила на полках. Черного хлеба еще осталась половинка, а батон вчера наконец съели. Неохота покупать. Купишь, опять заваляется. Ага, пакет пряников нашелся. Ната нажала пальцем – вполне еще мягкие. Кажется, обойдется. Курица у нее лежит в морозилке, две банки горошка в шкафу. Пожалуй, она действительно может не идти в магазин. Лучше поработает подольше. А по счетам заплатит завтра. Ната опять уселась за стол.

...И все-таки настоящий голод наступил той зимой не у всех. Те, что работали на заводах, получали пайки. Те, кто оставался служить в городских организациях, – тоже, но поменьше. Совсем плохо было тем, кто не работал, – пенсионерам и так называемой городской интеллигенции.

Прасковья Степановна по утрам, в туманной промозглой тьме надевала поверх неснимаемой уже месяцами кофты мужнину фуфайку, потом пальто, заматывалась всеми платками, какие были в доме, всовывала ноги в подшитые серые валенки – до революции в них ходила прислуга Глаша – и шла в очередь за хлебом. Трудно было узнать теперь в Прасковье Степановне прежнюю юную красавицу – в шикарной коляске, в меховом полосатом мантии и шляпе со свисающим пером. Но когда Прасковья Степановна разматывала платки, будто лягушачья или змеиная кожа – сухая, серая – падала с ее головы на плечи, и обнажалось тогда лицо с когда-то правильными нежными чертами, с обтянутыми теперь скулами, с предательскими морщинами, сложившимися в четкие черточки у глаз и вдоль щек. Скорбно поджались губы, и от носа к пока еще округлому подбородку шли скобками будто чужие, недавно приобретенные складки кожи.



И Петру Яковлевичу тогда казалось, что на измученном лице жены оставались жить только прежние васильковые глаза под коричневыми бровями – две соболиные стрелочки цвета меха на прежнем пушистом манто. А само лицо, казалось, становилось все суше, западали глазницы, искажались любимые черты, умирали по частям. И останавливалось тогда сердце у Нестерова. И любил Петр Яковлевич свою замотанную в платки, исхудавшую, измученную жену до крайности, до самозабвения, до полной отдачи ей себя.

За хлебом нужно было ходить в магазин каждый день. С заднего входа устанавливали весы, в восемь открывалась дверь, начинала двигаться очередь, мерзнувшая хвостом с темной ночи. Хлеб Прасковья Степановна получала по карточке. Очень маленький кусочек – серый, непропеченный и безумно вкусный, глотающийся моментально. Дающий – нет, не сытость, какая там сытость от таких крох? Хлеб давал надежду на то, что жизнь продлится хотя бы еще пару дней. На сегодня – потому что ты все-таки съел этот кусочек, и значит, от голода, наверное, не умрешь, – и на завтра. На следующий день, как правило, от голода тоже не умирают, если накануне ты проглотил этот клейкий комочек жизни. И надежда давала людям силы снова идти в очередь.

Петр Яковлевич по духу, по знаниям, по опыту, по трудам был крупным советским ученым. Однако несмотря на бесценный и уникальный определитель ядовитых растений, им составленный, Нестеров занимал весьма скромную должность доцента кафедры ботаники. Отсюда и паек получал крошечный – по чину.

А не выбился в чинах Петр Яковлевич потому, что нигде не засиживался подолгу на одном месте – часто переезжал вместе с женой. И докторскую диссертацию тоже поэтому не сделал. В ботанике нельзя сделать диссертацию быстро – растения растут медленно. Да и не хотел Петр Яковлевич делать докторскую – боялся «светиться». К тому, что другие обходили его чинами, относился спокойно, посмеиваясь, за что Прасковья Степановна, сердясь, даже называла его иногда простофилей. На что Петр Яковлевич никогда не обижался, а только хмыкал определенным образом в подстриженные щеточкой когда-то русые, а теперь уже больше чем наполовину седые усы. И конечно, ни словом, ни намеком старался он не напоминать Прасковье Степановне о том, что переезды из города в город были для них сродни заметанию следов, как у загоняемых животных. Знакомых много на одном месте они старались не заводить, со старыми не встречаться, вели себя незаметно, одевались скромно, чтобы не вызывать сплетен и разговоров, потому что была Прасковья Степановна по происхождению немкой, дочерью немецкого экономиста, управляющего до революции крупным металлургическим заводом. И в первом браке, тоже до революции, была Прасковья Степановна замужем за богатейшим потомственным купцом-мануфактурщиком, выписывала шляпы из Парижа, имела собственный выезд и огромный дом, который национализировали в семнадцатом году. И только старый теперь уже академик знал эти подробности жизни Петра Яковлевича, потому что знаком был со всеми этими людьми в Петербурге по отдельности в то, кажущееся теперь нереальным, время, когда еще и сам академик был не стар, не вдов, а благополучен, любим и готов на многое для науки.

Не рассказывала никогда и никому и сама Прасковья Степановна о том, что ее купец-мануфактурщик был человеком широкой души, образованным, разгульным, безалаберным и веселым. И в Первую мировую войну так же весело и с таким же шиком, как они ездили в театры и в гости, а в одиночку он ездил и кое-куда еще, уехал ее купец вольноопределяющимся на фронт, легко помахав жене на прощание. И так же весело, глупо и бесшабашно, как жил, был убит в Восточной Пруссии при Танненберге в самом начале войны. Потом оказалось, что он еще и много должен разным людям, ее погибший муж.

Прасковья Степановна раздала долги кредиторам и начала работать в начальной городской школе учительницей. У нее остался дом, который теперь оказался ей в тягость и который она хотела продать, но не успела. От одного завшивленного ученика, с которым она занималась дополнительно и, разумеется, бесплатно, Прасковья Степановна заразилась тифом, и об этом тоже, естественно, нигде и никогда не упоминалось. Как и то, что в тифозный барак приходил к ней и из железной кружки кормил маленькими кусочками хлеба, смоченными в чае с молоком, один Петр Яковлевич. Мать Прасковьи Степановны к тому времени умерла, а отец-управляющий, выдав дочь замуж, уехал на родину, в Германию, и теперь оказался гражданином воюющей страны. А все другие родственники молодой вдовы, включая и бывшую челядь, испугались тифозной заразы. Откуда Нестеров в то время доставал молоко, было не ясно, но потом выяснилось, что в комнате у него не осталось никакой мебели, кроме кровати. На третьей неделе болезни, дождавшись, когда сознание Прасковьи Степановны вынырнет из тифозного бреда, Петр Яковлевич встал в заразном бараке на колени перед ее брезентовой койкой и сделал предложение руки и сердца.

– Откуда вы меня знаете? – спросила она во время этого драматического и немного театрального момента.

– Я увидел вас однажды на улице, возле школы, в которую вы ходили преподавать, и с той поры не могу без вас жить, – ответил Нестеров. – Но если вы помните, мы все-таки познакомились с вами на вечере по случаю именин жены директора ...

– Но я же тогда была ужасно усталая...

Прасковья Степановна, несмотря на только что снизившийся жар, на слабость, на неизвестность того, выживет ли она вообще, ужасно смутилась, вспомнив, что, вероятно, Петр Яковлевич видел ее в вышедшей уже из моды шляпе – как раз той самой, из Парижа, ведь других у нее теперь уже не было.

– Выпейте молоко, – ласково сказал Нестеров и поднес к ее губам кружку. Молока в ней было только на треть. Прасковья Степановна выпила его до капли и в первый раз за все время болезни спокойно уснула. А Петр Яковлевич смотрел на нее – такую беззащитную, худую, но ставшую такой родной, и не замечал больше никого. Доктор в халате с воротом под горло, устало и равнодушно обходил барак в сопровождении медсестры, несшей за ним спиртовые салфетки. Он посмотрел на Нестерова сердито и не подал руки, но Петру Яковлевичу было все равно. В нем зрело чувство, что он добился чего-то самого важного в жизни. Вокруг кричали и стонали другие больные. Он подумал, что они будут мешать спать Прасковье Степановне и ее нужно как можно быстрее из этого барака забрать. Поэтому он не остался дольше сидеть с ней, а пошел к приятелю, уезжавшему за границу, чтобы одолжить у него стол и хотя бы матрас. А Прасковья Степановна, проснувшись, машинально поднесла руку к голове и вдруг с ужасом обнаружила, что острижена наголо. По приказу сердитого доктора для прекращения распространения «вшивой» заразы больничный санитар обривал всех больных, хоть женщин, хоть мужчин, бывших хоть в сознании, хоть без сознания. Она ужаснулась этому обстоятельству и еще немного удивилась, как же практически незнакомый человек мог сделать предложение лысой женщине. Но когда Нестеров пришел снова и, замирая от счастья, объявил, что комната, хоть и небольшая, для ее переезда готова, она совершенно спокойно позволила ему взять себя на руки и нести все равно куда с полным к нему доверием и без всяких условий. И вот так с тех пор он и глядел на нее все теми же глазами – восторженно и замирая от счастья. Хотя прошло уже со времени этого барака... ну да, почти двадцать пять лет.

Ната пересмотрела написанный отрывок и поморщилась. Слишком тяжеловесно, мало диалогов, трудно читать. Придется потом долго править. Легче просто выбросить. С другой стороны, должна же она как-то рассказать читателю о том времени, показать, что не на пустом

месте волновались Петр Яковлевич и академик за сохранение картофельного фонда, и не все так просто и легко складывалось в семейной жизни Нестеровых.

Ната задумалась и снова взглянула на часы. Уже пять. На каждую страницу уходит около сорока минут. Почти урок школьного времени. Опрос, проверка домашнего задания, объявление новой темы и объяснение. Она легонько вздохнула. В принципе, в школе было не так уж плохо. Нагрузка только была большая. В университете престижнее, но денег меньше. Завтра у нее две лекции. Надо будет ночью после котлет еще пробежать глазами материал. Ладно. Она снова взглянула на часы. Сейчас еще одна страница – и к плите. Муж приходит в восемь, сын в девять. Ничего, еще есть время. Она должна все успеть. И рассказ у нее все-таки получается. Она это чувствует. Она всегда чувствует, когда у нее что-то хорошо получается. А правку она в конце концов внесет. Подумаешь, правка. Всего несколько часов работы. Важно, что получается что-то главное. То главное, что ее глубоко волнует. Она сама еще не поняла до конца, что именно и как она повернет сюжет. Пока она только определяет главных героев. Надо будет вечером рассказать об этой штуке, что она пишет, мужу. А может, и сын что-нибудь скажет. Ната улыбнулась, вспомнив обоих.

...С утра Петр Яковлевич топил в доме «черную» печь – уголь тоже продавали по карточкам – и три раза в неделю ездил на трамвае на бойню за кровью. Кровь была нужна Роксу – служебных собак оставляли у хозяев и выделяли им свой, собачий паек. А то, что Рокс был собакой служебной, сомнений ни у кого не имелось. Еще до войны Петр Яковлевич прошел с ним полный курс собачьей подготовки – пес и по бревну бегал, и ров преодолевал, и переодетых инструкторов – якобы нарушителей – задерживал.

Рокс, конечно, нужен был для охраны – немало любителей было залезть и в молодой, но уже плодоносящий сад, и в дом с большими, чистыми окнами. В любом городе, куда бы ни приезжали на жительство Нестеровы, первым делом покупали они строение. Хотели, чтоб непременно с участком. И первым делом сажал Петр Яковлевич сад. Потом потихоньку стараниями и вкусом Прасковьи Степановны строение превращалось в дом, даже если сначала (бывало и так) похоже было на сарай. Вот такая особенность была у Прасковьи Степановны. Там, куда она являлась, тут же на чисто вымытых окнах возникали красивые занавески – одни и те же, которые возила она за собой с места на место. В комнатах – сколько бы их ни было, даже если всего одна-единственная, устанавливался книжный шкаф или просто полки. Стол – даже из простых досок – устилался бархатной брусничной скатертью с расписными птицами и ближе к свету расставлялись цветы. Высокие драцены – простые в разведении и воспроизводстве, смешные фикусы с темно-зелеными глянцевыми листьями и горшки с цветущими геранями. И как-то всегда так устраивала Прасковья Степановна, что цвет гераней подходил к оттенкам скатерти, милые недорогие вазочки наполнялись вареньем, а в комнатах начинало пахнуть пирогами, теплом и солнцем. А года за четыре до войны в последнем их доме и появился Рокс.

Он был овчаркой, а характером похож на Петра Яковлевича. Веселый и необидчивый, чуткий, с превосходным собачьим умом, он так же, как и хозяин, обожал Прасковью Степановну. Дома темной мягкой тенью пес перемещался за ней из комнаты в кухню, лежал то возле ее крошечного столика для шитья, то забирался под обеденный стол или к складному стулу Петра Яковлевича, за которым тот до войны любил посидеть у окна, почитать. Обожал Рокс прогулки с хозяином на пруд старого чугуноплавильного завода. И особенно – к знакомому Петра Яковлевича рыбаку, к которому тот ездил довоенными выходными за ершами и окуньками для ухи. Уху очень любила Прасковья Степановна.

Ездили к рыбаку Петр Яковлевич с Роксом на трамвае. Доезжали до конечной, а потом шли через лес к озеру. Окуньки были красивые – веселые, красноперые и полосатые. Ерши – тоже полосатые, но потемнее. Чебаки же вовсе не радость – плоские, с тусклой чешуей. Но Нестеров покупал у рыбака и чебаков – потому что, куда же их девать? Не может же тот прода-

вать только окуней? Нестеров сам чистил по возвращении рыбу, чтобы не укололась острыми плавниками Прасковья Степановна.

Рокс, конечно, ехал в наморднике и на поводке, но и намордник ему было легко вытерпеть в обмен на радость прогулок по сосновому лесу с мягкой жухлой хвоей под лапами, на интересные запахи возле невидимых хозяину звериных нор. Нестеров обязательно приносил из леса в подарок Прасковье Степановне то букетик из красных ягод лесной земляники, то пучок ландышей или охапку ромашек. Землянику Рокс лично не любил, но всегда вежливо слизывал пару помятых ягодок с мягкой ладони хозяйки, предложенных ему в качестве угощения.

С трамваем у Рокса были особенные отношения. Вот отправлялась, например, до войны Прасковья Степановна с кем-нибудь из знакомых в театр. Рокс с Нестеровым вечерами ходили за несколько кварталов хозяйку встречать. Петр Яковлевич стоял тогда терпеливо на углу улицы на тротуаре, а Рокс так же терпеливо сидел, как и полагается, возле его левой ноги. Трамваи проходили одним за другим. Вдруг Нестеров ощущал в собаке некое еле заметное напряжение – сначала в кончике собачьего носа, потом в более определенном повороте всей морды... Затем, чуть топчась, привставали с асфальта Роксовы лапы, вытягивалась шея, и Нестеров понимал – в вагоне, верно, только что отъехавшем от предыдущей остановки, находится жена. Оба они с Роксом при этом испытывали одинаковое радостное нетерпение. Когда «их» трамвай наконец подходил, пес первым из двоих подавался вперед и, не отрываясь, следил за трамвайными дверями. Нестеров на всякий случай крепче тогда сжимал поводок.

– Рокс сидеть. Сидеть!

Рокс дрожал, но силой воли пытался и снова садился на задние лапы. И только возбужденное выражение всей его морды, игра бровей и направление взгляда показывали Нестерову, из какой двери выйдет жена. И когда с подножки действительно сходила Прасковья Степановна, у обоих – собаки и человека – одинаково замирали сердца. У собаки – от облегчения и радости, что хозяйка приехала, а у Нестерова – еще и от волнения, с которым он всегда видел жену, даже если она уезжала всего-навсего в театр или, скажем, в баню.

В сороковом году исполнилось Роксу пять лет, а Петру Яковлевичу пятьдесят. На фронт их обоих не призвали. Нестеров остался в институте, а Рокс выполнял при доме и при Прасковье Степановне привычные ему функции охранника и друга. Вот только голодным теперь Рокс тоже был постоянно. Через день Нестеров должен был ездить на бойню за кровью для Рокса. Служебным собакам выделяли кровь по специальным талонам, но этого было так мало! Бока у Рокса ввалились, морда осунулась, но, поскольку в небольшой светлой кухоньке, кроме запаха вареной крови, других мясных запахов уже давно не было, Рокс смирился. Вареное свое раз в два дня вылакивал моментально и долго-долго еще вылизывал миску. И принимался лизать ее по нескольку раз в день, и совсем не понимал, почему, глядя на это его занятие, плачет Прасковья Степановна. Тогда он полз к ней, ложился на ноги и слегка вилял хвостом. Раньше Прасковья Степановна это любила, но теперь все чаще отодвигалась.

– Отойди, Рокс. Больно.

Рокс видел, что ноги у нее превратились будто в две раздувшиеся рыбины, но не понимал, от чего это с хозяйкой. Но все-таки он отходил, шатаясь, – тело вроде легкое, а стало каким-то странным, неустойчивым, и вздыхал тяжело, совсем как человек.

– Иди, ложись к печке, там теплее, – звала его Прасковья Степановна. Рокс послушно ложился у печки, вделанной в угол комнаты, хотя тепло от нее было весьма условным.

Большую кухонную печь по утрам топили углем. В печь был вделан котел, нагретая вода из него шла в комнаты по трубам. Но это в мирное время. Осенью Нестеров покупал две грузовые машины угля, и в доме даже в самые крепкие морозы было уютно, тепло. Теперь угля не хватало. Его тоже продавали по карточкам. Во дворе и на улице Петр Яковлевич подбирал все до последнего угольного камешка, но это были крохи. Соседи ходили еще дальше – на

железнодорожные пути, собирали там, но Прасковья Степановна в этом году уже не ходила, не могла, а Нестеров не успевал – все собирали с утра, до него. Сейчас же из-за картофельного фонда он должен возвращаться еще позднее. Но в каждой комнате была еще встроенная в угол печурка. Ее можно было топить дровами. Вот несколькими полешками и подтапливала комнату Прасковья Степановна зимой, чтобы совершенно не замерзнуть. Полешки доставали кто где мог, топили и старыми стульями, и разломанными комодами, и разными случайными деревяшками. Жили теперь в единственной комнате, все остальные были закрыты.

Прасковья Степановна большую часть дня теперь лежала одетая – под одеялом, под пледом, под мужниным старым пальто и под рваным тулупом, найденным в сарае. Драцены померзли, Нестеров обрезал их под корень и убрал с подоконника на середину комнаты. Фигус стоял поникший, а мясистые его листья затвердели, как будто изнутри наполнились льдом. Горшки из-под герани опустели и были убраны в темный чулан.

Прасковья Степановна вставала теперь только перед приходом мужа. Не для того, чтобы приготовить поесть, готовить было не из чего, а чтобы смахнуть со стола все равно откуда-то бравшуюся тусклую, скучную пыль. Когда Нестеров входил – промерзлый, из темноты, она всегда шла навстречу и говорила, стараясь улыбаться, что он с каждым днем приходит все позднее и что она опасается, не завелась ли у него в институте любимая студентка.

Собственно, мелькнувшая тогда после собрания у Нестерова мысль, что Прасковья Степановна будет недовольна его поздними приходами, базировалась не на этих полусутильных укорах, а на воспоминании о прошлой жизни, в которой обеденный час – семь часов вечера – был незыблемой данностью из жизни еще более прошлой. И Нестеров старался не нарушать законы, установленные женой. Теперь же с отсутствием обеда как такового осталась только традиция. А еще Прасковья Степановна не любила вечерами оставаться одна. И хотя она не говорила об этом Нестерову, он не мог не чувствовать, что она боялась. Она не переносила темноту, а электричество теперь по вечерам часто отключали.

Страх этот появился у Прасковьи Степановны не с началом войны, а намного раньше. Нестеров заметил его года с тридцатого, когда в каком-то очередном городке в одной с ними коммунальной квартире поселился вечно пьяный мужик, которого все соседи называли просто – Партизан. Звериным интуитивным чутьем этот пьянчуга уловил нечто, ему абсолютно инородное, и в самом Нестерове, и в Прасковье Степановне. В первый же день после вселения Партизан переступил на костылях порог общей кухни и мутным взглядом обвел всех женщин, теснящихся у закопченных плит.

– Ты, – сказал он громко, безошибочно обратившись к Прасковье Степановне и для острастки выставив вперед деревянный протез, пристегнутый к колену, – барыня недобитая. Пошла отсюда прочь! Нечего здесь к рабочему классу примазываться!

Прасковья Степановна молча взяла кастрюлю с плиты и ушла в свою комнату. Вечером она рассказала о Партизане Нестерову. Через три дня они переехали с квартиры и вообще уехали из того города, селились с той поры только в отдельных домах, пусть даже развалюхах, но страх у Прасковьи Степановны остался.

– Может, нам через кого-нибудь разыскать моего отца и уехать к нему? – году в тридцать шестом спросила она Нестерова.

– Поздно, Паулиночка. Теперь уже не уехать.

И она, почти никогда не плававшая, вдруг заплакала – не оттого, что вдруг с внезапной отчетливостью еще раз поняла, что больше никогда, никогда не увидит отца, а оттого, что Нестеров назвал ее прежним, почти забытым уже именем. «Паулина Генриховна» – так звали до революции Прасковью Степановну ученики в ее начальной школе.

А в тридцать седьмом, как-то вечером, когда Прасковья Степановна слушала радио и думала, что находится в доме одна, Нестеров случайно вернулся раньше обычного. Он разделся в прихожей, снял калоши и, выпрямляясь, задел и уронил висевший зонтик. Он поднял его и



вошел в комнату. Прасковья Степановна стояла, вжавшись в угол. Такого выражения ужаса на ее лице он даже представить до этого не мог.

– Что с тобой? – спросил он.

– Я думала... Я боялась, что, если меня заберут, я больше тебя никогда не увижу, и ты ничего обо мне не узнаешь.

Он молча обнял ее. Она вдруг горячо зашептала:

– И в доме ведь есть твои рукописи... Тебя тоже могут схватить.

– В них нет ничего крамольного.

– Да, но ты не очень поддерживаешь Мичурина.

– Я никого не поддерживаю. Я занимаюсь лишь ядовитыми растениями.

– Петр! Вдумайся. Ядовитыми!

Он внезапно тоже понял и тоже ужаснулся.

В тот же вечер он сжег свою рукопись. Оставил только гербарий и определитель растений. Определитель был уже подписан в печать и должен был выйти после Нового года. И, когда он вышел, они переехали в очередной раз, бросив вполне налаженный дом и вполне уже ухоженный сад. Приехали сюда, в далекий город на Уральских горах, и Нестеров сразу же после покупки последнего их жилья купил и Рокса.

Муж явился позднее обычного. От куриного супа, как и от борща, отказался. Сказал, что устал, что выпьет кефиру и ляжет спать. На самом деле (Ната прекрасно это уже знала, потому что так бывало отнюдь не в первый раз) после кефира настал черед чая, пряников, и варенья, и... телевизора. Димка тупо смотрел какой-то очередной сериал. Ната не ругалась. После того как уезжаешь на работу в семь, крутишься там целый день и приезжаешь домой в девять вечера, в башку ничего не лезет, кроме такой вот дряни. Но ей хотелось поделиться.

– Дим, я замутила новый рассказ.

– Да? О чем? – Он мельком взглянул в ее сторону и снова уставился на экран.

– О войне. О том, как на Урале сохраняли картофельный фонд.

Сериал перебилась рекламой.

– Дудинцев. «Белые одежды», – Димка переключился на другой канал.

– Что? – не поняла Ната.

– Я говорю, «Белые одежды». Мы в институте изучали. Роман был такой. Году в восьмидесятом. Вроде о генетиках или еще о ком-то. Но про картошку там вроде тоже что-то было. Я плохо помню, кажется, не дочитал. Или забыл.

– Да? – расстроилась Ната. – А я вообще ничего такого не знаю. Думала, я буду первооткрывателем этой темы.

– Этой темы? – Реклама закончилась, и муж опять стал смотреть в экран. – С чего тебя вообще потянуло на это старье?

– Старье? Ты не поверишь. Смотри, – Ната встала со своего места из-за стола, раскрыла дверцы кухонного шкафа и достала какую-то вазочку. Сунула под нос Димке. Повторила:

– Смотри!

– Что это? – Из телевизора доносилась стрельба, и он никак не мог оторваться.

Ната убрала вазочку от его лица, подняла ее повыше к свету.

– Не знаю точно. Не то конфетница, не то для варенья.

Стрельба прекратилась, и Димка, не отрываясь от телевизора, полез в Интернет в своем телефоне. Машинально поморщился.

– И что?

Ната любовалась вазочкой, вертела ее в руках.

– Ты думаешь, это современная вещь? Да?

– Какая разница. Обычная дешевка...

– Я тоже сначала так думала, а потом увидела что нет.

Димка промолчал. На экране начался захватывающий эпизод взятия заложников.

– Господи, ну можешь ты хоть на минутку обратить на меня внимание? – не выдержала Ната.

– Да, ладно тебе... – Дмитрий все-таки повернулся в ее сторону. – Ты еще скажи спасибо, что я в компьютерные игры, как наш сын, не играю. И в Интернете сутками не сижу. Кстати, Темка где?

Ната взглянула на часы.

– Вообще-то должен уже прийти... Может, на тренировке задержался или девушку какую-нибудь поехал провожать? – Она выглянула в окно. – Или возле дома круги наматывает – место для парковки ищет.

Муж посмотрел на Нату.

– Слушай... Забыл сказать. У меня колесо спустило. Завтра с утра придется в шиномонтаж ехать.

Ната поставила вазочку на стол.

– Ой, вечно... Не понос, так золотуха...

На экране очередная красавица-следователь очаровательно улыбнулась очередному оперативнику и отказалась лечь с ним в постель под предлогом срочного выезда на очередное убийство. Поплыли титры. Дмитрий щелкнул пультом, выключил телевизор. Налил себе еще чаю. Зевнул.

– Ну, так что это за вазочка?

Ната обрадовалась. Опять взяла в руки интересовавшую ее штучку, повертела под лампой.

– Вот, смотри! Ты думаешь, это на ней рисунок такой?

– Ну-ка, дай сюда!

По запорошенному снегом стеклянному полю узорчатой пеленой просвечивали завитушки – будто кто-то по льду катался на коньках.

– Хм! А если всмотреться – неплохая штукавина. Где ты ее взяла? В «Ашане»?

– Ну, скажешь тоже! – В голосе Наты слышались победные нотки. – На антресолях. В маминой коробке. Там еще от бабушки лежит всякая всячина. Но скажи... – Ната аккуратно перехватила вазочку у Димки из рук. – Симпатичная ведь штукавина! И никогда не подумаешь, что ей уже больше ста лет! Действительно, будто только из магазина. Мне кажется, я что-то похожее в «Английском фарфоре» видела. И ведь правда – рисунок изысканный. Будто лазером нанесен!

– А с чего ты полезла на антресоли? Я думал, у нас там все паутиной уже затянуто, как в «Острове сокровищ». – Димка засмеялся.

– Сам ты паутина! – Ната рассердилась. – Хватит ржать! Я на свою коробку для косметики кофе случайно пролила. Вот и стала искать, чем бы заменить. А будешь издеваться, я нарочно новую куплю – самую дорогую!

– Ладно, чего ты злишься... – Муж налил себе еще чаю. – И почему ты думаешь, что этой вазочке сто лет?

– Ага! – снова воодушевилась Ната. – Вот ты тоже не увидел! И я не сразу заметила. А ты представляешь, эта вазочка в газету была завернута. «Уральский рабочий» от 8 декабря 1977 года. Мне тогда было... Два года всего!

– А бабушка твоя умерла в каком году? – посмотрел на Нату Димка.

– Ой правда, как же я не подумала... В семьдесят седьмом... В октябре... Не помню точно уже какого числа.

– Вполне логично, что через сорок дней вещи эти и были запакованы. Наверное, их перевезли к твоей матери на квартиру. А потом уже и к тебе.

Ната подумала.

– Ну, да, я помню, когда мы с мамой разменялись, она просто передала мне эту коробку. Сказала, возьми что хочешь, а что не надо – выброси. А я, наверное, и смотреть не стала! Все было некогда. Но самое интересное, прочитай, что написано на этой вазочке на дне!

– А разве там что-то написано?

– В том-то и дело! Гравировка такая тонкая, что еле заметна на фоне рисунка. Вот ты читай!

– Я без очков не вижу.

– Давай сюда.

Ната прищурилась и стала медленно разбирать, всматриваясь в еле заметные буквы. «В день рождения дорогой Паулине Рихарт от подруги Аси. Никогда тебя не забуду! Десятое сентября 1911 года». Представляешь? Это еще до Первой мировой! Конец Серебряного века. Я теперь даже не смогу в эту штуку косметику класть.

– Ну вообще-то художественной ценности в ней немного.

– Тут дело уже не в ценности. Просто во времени. И самое главное – я никогда не знала никого, кого бы звали Паулина Рихарт. И о подруге Асе, кстати, тоже никогда не слышала.

– Так матери позвони.

– А я уже позвонила. Так вот, мама сказала, что якобы у моего прадеда, академика, когда он работал на Урале, был сотрудник, по фамилии Нестеров. Его жена была чистокровная немка. И они скрывались, чтобы ее не разоблачили во время репрессий. И вот эту жену-немку звали, кажется, Паулина Генриховна. И что мой прадед вместе с этим Нестеровым спасали в войну картофельный фонд.

Дмитрий пожал плечами.

– Ну, так весьма логично, что жена этого Нестерова вполне могла подарить какую-нибудь безделушку жене твоего прадеда – академика. Например, эту вазочку. Что же тут такого?

Ната помолчала немного и вдруг выпалила:

– Да я не про вазочку... У меня сложился про все это рассказ!

– Про что, про *это*?

– Ну про войну... Про *то* время... Про Нестерова и его жену... Про картофельный фонд.

– Ерунда, – зевнул Димка. – Ты что, его уже написала?

– Пока еще нет. Работаю.

– Ну дело, конечно, твое, но, по-моему, время лучше не тратить. Сама же жалуешься, что ни хрена не успеваешь. Тема непроходная. Не напечатают.

Ната помолчала. Дмитрий опять включил чайник. Взглянул на жену.

– Чай будешь?

– Не буду.

Он сел за стол напротив нее, впервые за вечер посмотрел ей прямо в глаза.

– Ну чего ты набычилась?

Ната молчала, рассеянно сметала крошки со стола.

– Сама же знаешь, что правду говорю, – опять сказал Димка. – Картофельный фонд какой-то... Нашла тоже тему. На фиг это кому-то сейчас нужно?

– Ну у нас же вроде этот год идет как юбилейный... Шестьдесят вроде лет со Дня Победы...

Ната чуть не заплакала. Она целый день работала. Неважно чувствовала себя. Много не успела. И вечером, когда Димка ляжет спать, у нее еще котлеты. И завтра две лекции... И слышать, что старалась зря... Господи, что за жизнь!

– Во-первых, уже семьдесят лет прошло, а не шестьдесят. Во-вторых, надо было суетиться раньше. – Димкины слова падали в ее уши, как капли яда в уши гамлетовского отца. А он все не замолкал.

– Разрабатывать эту тему надо было начинать минимум за год. Написала бы пораньше и подавала бы на разные конкурсы. Может, тогда бы и прокатило. А теперь, когда вся эта помпа уже позади, – кто это будет печатать? Куда ты этот текст денешь?

– А никуда не дену! – Чашки и блюдца рассерженно звякали в ее руках. – Пускай в ящике моем вечно лежит!

– Охота тогда тебе силы тратить?!

– Ну и пускай! Не всем же каждый вечер в Интернете сидеть!

Димка со значением постучал по своему лбу, встал и полез в холодильник за пряником.

– Да ладно, Наташка, чего ты злишься? Хочешь – пиши. Хочешь – не пиши. Может, и правда что-то у тебя выйдет. – Он откусил сразу половину пряника и снова взял в руки вазочку.

– А! – Ната махнула головой. Злость как-то мигом слетела с нее. – Потому и злюсь, потому что сама знаю – даже если что и выйдет, никому это действительно не нужно. Все хотят от меня что-то стопроцентно продаваемое. Желательно про любовь.

– А у тебя что, в этой «картошке» еще и любви нет? Ну тогда вообще – выброси сразу. Дохлый номер.

– Любовь-то есть... Но... В общем ты прав. Если помягче сказать, вещь эта и в самом деле не коммерческая.

– Какие дела! – Димка подошел сзади и легонько чмокнул жену в макушку. – Вставь два убийства, любовь немки к нацисту, изнасилование и десяток взрывов. Переделай в сценарий. И позвони Виталику. Может, он такое и купит. Сейчас это востребовано.

Ната вздохнула. Беззлобно сказала:

– Пошел ты знаешь куда? Сам знаешь, что Виталий – ужасный циник. Он скажет: «В зародыше хорошо. Но если меня не послушаешь, родится уродец». А я этот свой рассказ уже люблю, как любила бы больного ребенка. Просто потому, что он – мой.

– Ну ты и сравнила тоже, – Димка три раза постучал по столу. – Больной ребенок! Рассказ – это не ребенок. Это работа. Желательно за деньги. – Он засунул вторую половину пряника в рот. – Но все-таки, наш-то сын где? Одиннадцать часов уже. Не предупредил... Не позвонил... Он тебе когда последний раз эсэмэску прислал?

– Днем, – сказала Ната и стала складывать посуду со стола в посудомоечную машину. – Но я сама ему звонила перед твоим приходом. Он был недоступен.

– Ладно, я тоже сейчас попробую набрать. – Дмитрий взял со стола свой телефон. Ната выпрямилась, обернулась к мужу, подождала, пока он соединится...

– Ну что?

– Недоступен. – Пожал плечами Дима и ушел в ванную.

Ната посидела еще за столом, сделала из чашки последний глоток. Чай уже остыл, и она выплеснула остатки в раковину. Встала, полезла в коробку за таблетками для Розалинды. Пошарила рукой на самом дне – вытянула последние три штуки. Сразу зачесался затылок. У нее всегда, когда в жизни появлялись какие-нибудь сложности, чесался затылок. Недаром же говорят: «Чеси репу». Ната и чесала. Чесала и работала. Но, чтобы решать сложности, одну репу чесать оказалось мало. Жуть, как подорожали всякие полезные вещи в последнее время. Нужно спросить у Димки, не предвидится ли, часом, у него какая-нибудь премия? Какой-нибудь приятный бонус?

Муж иногда приносил разные штучки со своих рекламных кампаний. То чайник ему подарят, то набор суперповарешек. Вот сейчас бы кстати оказались моющие таблетки для Розы.

Розалинда – так Ната звала посудомоечную машину. Как Димка объяснял, Ната, как и многие женщины, делала одну и ту же ошибку – всем вещам, людям и явлениям природы придавала собственные черты, а потом удивлялась, что ее часто обманывают и никто не думает в точности как она. И еще он говорил:

– Зря ты очеловечиваешь предметы. Когда машинка испортится, жалко будет ее выбрасывать. Так и будешь ее ремонтировать, вместо того чтобы сразу заменить на новую.

– Она мне больше чем подруга, – возражала Ната. – Сплетничать с ней не получается, зато помогает реально больше.

Димка только усмехался и крутил головой в его обычной манере – недоверчиво-снисходительно.

Стиральная машинка тоже имела свое имя – «Алиса». Ее первую предшественницу купили когда-то давным-давно, в самом начале их с Димкой совместной жизни на подаренные на свадьбу деньги.

– Алиса в стране чудес, – сказала тогда Ната, завороченно следя за автоматически вращающимся барабаном. – Боже, какое счастье, что она у нас есть! Когда я была маленькой, мама стирала в «Сибири», на балконе на веревках развешивали мокрое белье, а у меня было такое чувство, что я болтаюсь под ногами и всем мешаю. Иногда меня в такие дни отправляли к бабушке. А у той была домработница, которая посматривала на меня, как мне казалось, ужасно плотно и все время хотела меня тискать. Стоило ей только увидеть меня, она бросала тряпку или что там у нее было в руке, совала руку в карман передника и вытягивала оттуда соевый батончик. Были тогда конфеты такие, дешевенькие. Я, кстати, эти батончики даже любила, но у нее никогда не брала.

– Почему? – зевая, спрашивал Димка.

– Мне казалось, что у нее ногти были всегда грязные. И я ее ужасно боялась и все время заливалась ревом, если она пыталась ко мне приблизиться.

– Она была старая?

– Да нет. Женщина лет сорока. В принципе, такая же, как я сейчас. А фамилия у нее была смешная. Губкина. Я даже не пойму, почему я так на нее реагировала. Потом, когда я уже была взрослой, я ее случайно встретила в магазине. Ничего особенного. Будешь смеяться, я и на руки посмотрела. Руки как руки. Ногти пострижены коротко. Чистые. Удивительно, что она меня первая узнала. Сама ко мне подошла. Вы, говорит, не дочка будете Валентины Борисовны? Как она могла меня узнать? Мама про нее рассказывала, что она выросла в детском доме. Родители умерли во время войны.

– Ну, детдомовские все, наверное, немного своеобразные, – отвечал Димка.

– А знаешь, я вообще не представляю, как это жить, когда в квартире постоянно болтаются чужие люди – горничные, шоферы, дворецкие... Это, должно быть, очень сложно.

– За это не беспокойся. Нам дворецкие не грозят, – фыркнул тогда ее муж. – Спасибо, что жить есть где и машинку стиральную купили. Нам бы еще через годик настоящую купить...

Ната улыбнулась. Все-таки они с Димкой молодцы. И за новую квартиру кредит выплатили, и машины у них теперь целых две. «Настоящие», – как говорил тогда Димка. И хоть у Темки машинка и небольшая, но им всем нравится. И ездит он аккуратно...

Шум плеска воды из ванной напомнил Нате купание тюленей в бассейне. Артем, когда был маленький, обожал ходить в зоопарк. Забавный он тогда был... Всегда будто немного застенчивый... Это сейчас, как вырос, стал потихоньку права качать... Ната даже мысленно рассмеялась, вспоминая, как Темка мог подолгу стоять у каждого вольера, на всякий случай держа их с Димкой за руки.

Она подошла к холодильнику, достала размороженный фарш, понюхала. Накрошила в миску кусочками мякиш, корки выкинула в мусорное ведро, налила молоко, достала муку, стала лепить котлеты. В голову сам собой опять лез рассказ. Нет, она должна его дописать, что бы там Димка ни говорил! Рассказ уже, как она называла это, созрел. И даже существовал уже сам по себе, пока, правда, только в ее голове, но это ерунда, записать не так сложно, если владеешь техникой. Потом еще можно исправить детали, но главное уже есть. Есть герои. Они узнаваемы. Она сделала их зримыми, почти осязаемыми. Прасковья Степановна, Нестеров,



академик... Еще собака. Они ей понятны. Они будут понятны и другим – тем, кто захочет про них прочитать. Но... – задумалась Ната. То, что она написала как бы в качестве предисловия, сейчас уже затянулось. Пора переходить к действию. Для этого нужен еще один персонаж. Человек, на котором завяжется интрига. Он тоже уже подспудно присутствует. И читатель тоже знаком с ним мельком. Как она назвала его?

Ната смыла с пальцев прилипшую мясную массу, повернула к себе ноутбук, прокрутила первые страницы. Где же эта строка? Начальственная дама на собрании института объявляет назначенных на должности сотрудников. Ну да, это здесь. Ната прочитала вслух. «...За сохранение семенного фонда картофеля назначаются следующие товарищи: ответственный – доцент кафедры ботаники Нестеров П. Я., в помощь ему лаборант этой же кафедры Губкин И. И.»

Почему она написала именно – «Губкин И. И.»? Странно, как всплыла в ее памяти эта фамилия. Фамилия бабушкиной домработницы. Что называется – оговорочка по Фрейду... Но, по большому счету, это не важно. Если уж она интуитивно выбрала такое имя – пусть так и будет. Она опять чуть не засмеялась. Представила, как знакомит Димку и Тему с новым персонажем. Даже рукой сделала движение в сторону воображаемого человека.

– Прошу любить и жаловать – старший лаборант кафедры ботаники Губкин Илья Ильич.

Слепленные котлеты двумя ровными рядами выстроились на разделочной доске. Остается только пожарить. Ну это быстро. Пожарить она всегда успеет. Ната ощутила что-то похожее на зуд в кончиках пальцев. Он появлялся всегда, когда ей нужно срочно что-нибудь записать. Димка опять будет ругаться. «Что у тебя за логика? Завтра не выспишься, будешь кислая, раздраженная...» Она вслушалась – звуки пребывания мужа в квартире были привычны, как дождик в сентябре. Ната усмехнулась. Вот он выключил воду. Пока разотрется полотенцем, пока побреется, чтобы не бриться утром, пока подстрижет ногти или что там еще – у нее еще около двадцати минут. Ната решительно придвинула к себе ноутбук. Она успеет написать страничку про Губкина.

Илья Ильич был человек не старый. Но из-за того, что спина его была искривлена горбом, а темное лицо с крапчатыми глазами складывалось при разговоре резкими морщинами, он казался ровесником Петру Яковлевичу.

Жены у Ильи Ильича не было, хотя слухи о его многочисленных романах ходили по институту самые разные. И Нестеров не удивлялся этим слухам. Было что-то такое в Илье Ильиче – в его лице, в движениях рук, в гордом горбоносом профиле, а самое главное, в его манере одеваться и себя вести, – что женщины очень скоро переставали думать о болезненном недостатке старшего лаборанта. Нестеров еще до войны считал не своим делом задумываться, откуда берет Илья Ильич его прекрасные костюмы с шелковыми рубашками и галстуками-бабочками, кто шьет ему обувь на заказ. А то, что она сшита прекрасным сапожником, не могло быть и сомнений. И только шляпа – мягкая, из дорогого фетра – никак не садилась на будто втиснутую в спину голову нестеровского коллеги. Эта прекрасная шляпа выглядела, как провоцирующая деталь, подчеркивающая искривленный остов, возможно, когда-то изящной башни. И даже серый габардиновый плащ не спасал положения. Шляпа превращала Губкина в старый, сморщенный гриб.

– Какой же я урод в этой шляпе! – спокойно сказал он Нестерову, когда тот случайно застал Илью Ильича одевающимся перед зеркалом в лаборантской. Губкин снял с головы шляпу и протянул Нестерову.

– Хотите, я вам ее подарю?

– Что вы! Ни в коем случае. Да я и шляп не ношу! – ужасно смутился Петр Яковлевич. Он и в самом деле не носил шляп, а предпочитал кепки, которые почему-то называл фуражками. Но смутился даже не из-за самого предложения Ильи Ильича, а из-за того, что никогда до этого они не сближались со старшим лаборантом. На это были некоторые причины. Губкин был ста-

рожил, а Нестеров «пришлый», как говорили, в эпоху «до» Нестерова. Илья Ильич, хотя и был только лаборантом, но всеми делами на кафедре заправлял он. Прежний заведующий слушался его и даже боялся, а Нестеров после своего приезда по-своему мягко, но настойчиво стал проводить свою линию по руководству кафедрой. Илья же Ильич, как человек умный, довольно быстро отошел в тень, Нестерову не перечил, хотя особенно и не помогал. Занимался своими прямыми обязанностями – готовил «учебный процесс». А так как работник он был вполне грамотный, Петр Яковлевич к нему тоже не цеплялся. Когда рассказывали, что Губкин систематически покорял то одну, то другую институтскую красавицу и даже (шепотом это говорили) имел продолжительный роман с самой Зинаидой Николаевной, Нестеров только добродушно усмехался в свои щеточкой подстриженные усы и собеседнику замечал, что на качестве работы на кафедре похождения товарища Губкина Ильи Ильича отрицательно не сказываются.

И еще у старшего лаборанта была дочь – девятилетняя полненькая, беленькая Маша, совершенно внешне непохожая на отца. У нее были тонкие, вьющиеся на висках волосы, разделенные на пробор и аккуратно заплетенные в две косы и уложенные над ушами в «корзинку». Удивительно, как рано эта девочка уже умела придавать томность взору. Казалось, ко всему она относится спокойно и дружелюбно, но одновременно у говоривших с ней появлялось впечатление, что ничто не может ее сильно взволновать. И как раз это выражение нежной рассеянности в ее выпуклых, очень светлых голубых глазах и придавало Машиному лицу вид более взрослый, почти девичий.

До войны летними месяцами Губкин часто брал Машу с собой на кафедру, никогда не отправляя ни в санатории, ни в пионерские лагеря. И тогда она с важным и безмятежным видом поливала в лаборантской цветы и пила за губкинским столом чай со свежей булочкой из фарфоровой, в крупных розах чашки. Чашку Маша очень аккуратно ставила на блюдце своей пухленькой маленькой ручкой и также аккуратно поднимала, подносила к ярким губам, чуть отставив в сторону пальчик. И тогда напоминала Нестерову молоденькую купчиху, с удовольствием расположившуюся за самоваром.

– Кто же помогает вам ухаживать за вашей Машей? – спросил как-то Нестеров, наблюдая, как ловко Губкин укладывает в сверток какие-то детские вещи.

– Мы с Марией Ильиничной сами отлично справляемся. Никто нам не нужен. – Илья Ильич умело поправил коричневые шелковые банты в Машиных волосах. Та благодарно улыбнулась отцу, трогая ручкой светлые косы.

– Мы живем вдвоем – дочь и я.

– И еще наш кот. Рыжик! – доверительно и безупречно попадая в тон отцу сообщила Нестерову Маша.

– Вам, наверное, весело с ним. – Сам стараясь казаться веселым, предположил Нестеров.

– Да, неплохо, – подтвердил Губкин.

– А у нас в картофелехранилище тоже живет кот. Он совершенно черный. – Бездетный Нестеров испытывал странное чувство, когда разговаривал с детьми.

– Ему же там холодно, – предположила Маша, но в голубых ее глазах не отразилось больше ничего.

– Он там на работе. Мышей ловит, – уточнил Илья Ильич и взял у дочери пустую чашку. – Если ты допила – пойдем.

– До свидания! – сделала ручкой Маша Нестерову.

– Мое почтение, – тот вежливо поклонился в ответ.

– Надеюсь, набоковского носочка у тебя не будет?

Ната не заметила, как Димка вышел из ванной и встал у нее за спиной с полотенцем на шее.

– Не будет. Это у меня не про Лолиту.

– Ну, слава богу. Теперь засну спокойно! – съехидничал муж. – С другой стороны – может, и зря. Педофилия – это модно. – Он бросил полотенце на спинку стула. – А Темка так и не позвонил?

– Нет, – Ната уже с тревогой взглянула на часы. – Почти двенадцать. – Она взяла в руки свой телефон. И тут раздался звонок – знакомая мелодия на мужнином айфоне.

– Он. – Димка нажал кнопку ответа. – Тем? Ты где пропадаешь?

Потом Димка вдруг вышел в коридор, Ната подождала немного и тоже вышла за ним, но муж отвернулся так, чтобы она не могла разобрать слов. Сын долго говорил, а муж слушал.

– Что случилось? – Ната уже подскочила к мужу, схватила за его руку, пытаясь повернуть ее к себе вместе с телефоном, но муж не давал. Ната только ощутила, как затвердели вдруг его мышцы на плече.

Наконец Димка сказал:

– Ты сам-то в порядке?

В черную пустоту улетел куда-то рассказ. Илья Ильич, Нестеров, Маша, оба кота и Прасковья Степановна вдруг завертели в круговороте возникшей тревоги и вихрем вылетели из Натаиной головы.

– Дим! Что случилось?

Муж опустил телефон, повернулся к Нате и сказал:

– Темка попал в ДТП. Говорит, что машина разбита, но он вроде не виноват. Ждет гаишников.

– Он жив?

– А кто это, по-твоему, говорит? – Димка смотрел на нее свирепо, но быстро смягчился: – Жив. И даже вроде адекватен.

Ната выхватила телефон:

– Тема! Мы сейчас с папой приедем! Ты только никуда не уходи!

– Куда я уйду?! – Голос у сына был раздраженный, но и виноватый. – Я тут уже второй час сижу, гаишники все не едут. – Он вдруг заговорил тоном повыше, как маленький: – Мам! Если вы приедете, захватите с собой деньги. Эвакуатор придется вызывать...

– Господи, конечно, возьмем. Ты лучше скажи – ты сам не пострадал?

Темка будто замялся.

– Вроде нет. Я вообще ничего не помню. Слышал удар только – и все... Мам, я даже не видел, откуда он выскочил!

Дима отобрал у нее телефон.

– Тема, вторая машина какая?

Ната уже рылась в своей сумке, доставая кошелек.

– Дим, собирайся!

Муж включил теперь громкую связь, и она хорошо слышала, как сын сказал:

– Пап, ты маму с собой не бери. Она расстроится...

Муж ответил:

– Ладно, решим, – и отключился. И тут сразу вспомнил: – У меня же колесо спустило.

Ната спросила:

– Это далеко?

– Прилично.

– Возьми такси. Еще не хватало, чтобы вы там застряли ночью.

Димка прошелся в раздумье в кухню и обратно.

– Нет. Заеду в шиномонтаж. Если гаишники приедут, пускай Артем с ними сам и начинает. Получит опыт. Это у него в первый раз. Как с девушкой.

Ната поморщилась.

– Фу!! Давай иди уже!

Муж взял у нее деньги, накинул куртку, и Ната увидела, как за ним захлопнулась дверь.

Жалко машину. Ната снова села за стол, потерла лицо. Ладно, хоть Тема не пострадал. Выплатят ли страховку? Нужно было ей для надежности ехать с ним! Она вздохнула. Оба бы озлились, что она вмешивается в мужские дела. С другой стороны, пускай хоть по этому поводу пообщаются, а то «Как дела?» – «Нормально». И разошлись по комнатам. Один в Фейсбуке, другой в Инстаграме. Что ж... ей остается только ждать. На чем она остановилась? Ага, на Губкине.

В картофелехранилище температура поддерживалась даже более стабильно, чем во всем институте. Когда угля не хватало, некоторые помещения учебного корпуса отключали от котельной. В подвале же и в мирное время всегда было прохладно – не меньше плюс единицы, не больше плюс трех. Теперь же, во избежание сбоев и поломок, температуру держали плюс три – плюс четыре. А вот верхнего света теперь в подвале не было вообще. Пользовались керосиновыми лампами и свечами. Нестеров приходил, когда уже было темно, ставил зажженную свечу в банку и при ее колеблющемся свете надевал чистую телогрейку, поверх синие нарукавники, сатиновый фартук и шерстяные перчатки со специальными хлопковыми нашивками на пальцах, чтобы можно было отпарывать и стирать. Такую конструкцию придумала Прасковья Степановна, сама связала и сшила. Такие же, только другого цвета, подарила она и Илье Ильичу. Губкин приходил чуть позже, зажигал керосиновый фонарь, и они приступали к работе.

Обязанности их в подвале были несложными, но требовали большой аккуратности. Каждый день приходилось контролировать температуру и влажность воздуха, при необходимости проветривать помещение. А самое главное, нужно было открывать фанерные ящички, каждый на двенадцать гнезд, в которых лежали картофелины, переворачивать каждую картофелину и внимательно осматривать. Ящички стояли как в библиотеке – на деревянных стеллажах от пола до потолка вдоль стен и даже рядами посередине хранилища. За один день открыть их все было невозможно. Чтобы не запутаться, Петр Яковлевич установил четкий график – каждый день осматривать по несколько стеллажей в определенном порядке. Губкин должен следовать за ним с фонарем и специальным журналом, в котором записывал название сорта, количество клубней, сроки их закладки, периоды контроля, утилизацию отбракованного материала. Вот в этих последних трех словах и заключалась для всех самая большая опасность.

До войны выбракованную, а проще говоря, сгнившую по тем или иным причинам картошку отмечали в журнале и попросту выбрасывали. Теперь утилизация не перенесших зимовку клубней представляла большую сложность. Недостаточно просто написать в специальной графе дату и вид повреждения. Подгнившие клубни нужно было выбрать из гнезд, где они лежали, как птенцы, на серой промышленной вате, отметить в журнале и разложить по отдельным кучкам. Раз в неделю являлся сотрудник из специальной комиссии. При виде его у Ильи Ильича перекашивалось лицо, к счастью, из-за темноты, царящей в помещении, никто, кроме Нестерова, этого не замечал. Сотрудник также делал специальную опись поврежденной картошки в собственной тетрадке, расписывался в журнале у Нестерова, и после всех этих тонкостей картошку складывал в мешок и куда-то увозил. Уборщицу Настю в хранилище допускали только подмести пыль, и то обязательно в присутствии третьих лиц. Да осторожная Настасья и сама особенно не рвалась заниматься в подвале уборкой.

– Сами там чего еще своруют, а свалят-то всегда на того, кто помладше. Я же за них и отвечай?

И из-за этой «государственной» картошки у Нестерова теперь совершенно не оставалось времени ни для того, чтобы пересмотреть сохранность кафедральных гербариев, ни подготовиться к весенним полевым работам в учхозе, да и просто полистать старые научные журналы, что он так любил делать в перерывах между занятиями. Ему хотелось бы бегать по лестницам

между лекционным залом, учебными комнатами на своем кафедральном этаже и подвалом, чтобы как можно быстрее сделать всю эту работу и не задерживаться, но он не мог уже бегать. Каждый шаг, каждая ступенька давались с трудом. Отзывались в груди одышкой, в голове – гулкими ударами сердца. Дома ждала его Прасковья Степановна, и он постоянно помнил об этом. Помнил – не вспоминая, потому что знание это жило в нем постоянно и было естественным для него, но все-таки возвращался он теперь гораздо позднее. Ужасно много времени требовала эта проверка клубней.

В темном подвале пододвинуть стремянку, залезть наверх, снять нелегкий для хронически голодного человека ящик, спустить и отнести на специальный стол, осмотреть каждое гнездо, перевернуть каждый клубень, продиктовать, закрыть, убрать, не оступиться, не уронить, ничего не пропустить...

Илья Ильич в байковых шароварах, валенках и ватнике ходил за ним с керосиновой лампой и журналом. Ящики таскать не помогал.

– Не нужно, – говорил Нестеров. – Я сам. Следите за лампой, а то еще устроим пожар.

Кстати, после начала войны Илья Ильич куда-то дел свою роскошную фетровую шляпу. Сменил ее на простой черный берет, в котором походил на испанского антифашиста, но уже к началу сорок третьего года почти не снимал с головы задрипанную меховую шапку-ушанку, уши которой завязывал тесемочками под подбородком.

– Знаете ли, в нынешние времена у меня голова пухнет от голода, беретик не налезает.

Осенью Губкин еще пытался острить, но к февралю замолчал. И вообще как-то вдруг опростился. Речь его, раньше даже не лишенная изящных литературных оборотов, теперь полна была матерщины. Нестеров молча слушал. Не исправлял, не поддерживал, за рамки служебных обязанностей не выходил. Тем более что мат был ни о чем конкретном. Просто мат. Потом замолчал и Губкин. Так они теперь и ползали по хранилищу, как две тени. Небольшая и уже переставшая быть крепкой тень Нестерова в его теперь странной для хранилища кепке, и страшная, кривая и горбатая тень Ильи Ильича. Сравнение с Квазимодо часто приходило Губкину раньше в голову, но теперь уже перестало казаться ему остроумным и проситься на язык. Работая, Губкин то и дело взглядывал на ручные часы. Наверное, он торопится к дочери, думал Нестеров. Петр Яковлевич сам таких часов не имел – пользовался на лекциях старым хронометром на цепочке, который носил в кармане пиджака. Прасковья Степановна приколотла конец цепочки с изнанки на булавку:

– А то непременно заговоришься со студентами и потеряешь.

Когда Нестеров почему-либо медлил – ящик не удавалось сразу снять или сорт картофеля написан был чернильным карандашом и размылся, – Губкин вздыхал красноречиво, своими вздохами торопя Петра Яковлевича.

А Нестеров тоже рад был бы торопиться, но не получалось. Не дай бог ошибиться. Приходящие контролеры из органов не только забирали отбракованный материал, но и выборочно проверяли содержимое остальных ящиков.

– Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, все ли у нас тут как надо хранится, – ласково приговаривал здоровенный чекист и в два легких и сильных маха оказывался на вершине стремянки. – Картошечка-то на черном рынке знаете сколько сейчас стоит? – Он заглядывал в ящики, спускал их вниз, переворачивал картошку.

– Вы осторожней, пожалуйста, не уроните! – вежливо говорил ему Нестеров. – Клубни у нас сортовые, редкие. Если ударить о твердое, быстро сгниют.

– Так вот и я о том же говорю, – все с теми же убаюкивающими интонациями приговаривал чекист, будто детскую песенку пел. – Хорошо, если еще ненароком ударить. А вот если ящичек-то специально уронить... Так это какие же на ней можно деньжищи сделать? Да и в отварном виде, я думаю, будет картошечка недурна ... А-а? – И он вдруг будто менял маску на лице. Свирепо смотрел на Нестерова.



– Вы, товарищ, будьте спокойны, – ровным голосом отвечал чекисту Петр Яковлевич. – У нас каждый клубень находится на государственном попечении. Кроме того, этот картофель больше имеет научную ценность, чем кулинарную.

– Вот то-то и оно. Я и говорю – ценности надо сохранять. – Работник из органов легко проворачивался на каблуках, даже не думая убрать назад снятые с верхних полок ящики.

– А на государственном попечении у нас, товарищ доцент, сироты и инвалиды. Вы это имейте в виду! – Он строго смотрел на Нестерова и уходил не прощаясь.

– Хамы. – Однажды, не выдержав, сказал Губкин, с ненавистью глядя на закрывшуюся за чекистом дверь.

– Парень, наверное, из деревни, – отозвался Нестеров. – Слово «попечение» понимает только буквально.

– Это он не в деревне так рожу отъел. – Губкин крепко завязал под воротником шарф и направился к двери.

– Тише! Уборщица может быть за дверью! – с возмущением вслед ему шептал Нестеров. – Осторожнее надо быть! Ведь у вас дочь!

– Знаю, что дочь, иначе давно бы уж ушел...

– На фронт? Вас бы не взяли...

– На фронт... Ага... – Илья Ильич не договорил и вышел. А Нестеров еще долго сокрушался про себя, выходил в коридор, не гася лампу, осматривал помещение, где хранились ведра и веники и с замиранием сердца вспоминал, слышал ли он, когда и куда заходила и выходила Настасья во время их разговора.

Разговор этот, даже не разговор, а полупамят состоялся в хранилище в феврале. А в марте и Нестерову, и Губкину стало совсем плохо.

Лекции на неопределенное время отменили. Для тех, кто добирался в институт хоть погреться – ни общежитие, ни так называемые жактовские дома не отапливались, – занятия все-таки проводились. Но Нестеров теперь уже не вставал. Ни к доске, ни за кафедру.

– Садитесь, товарищи, поближе к столу.

Товарищи женского пола, замотанные в платки и шали, в валенках, в варежках – подползали. Рассаживались тихо, старались не шуметь. Нестеров раскрывал гербарии. Показывал дореволюционные еще атласы. Губкин развешивал на доске таблицы. На девушек не смотрел. В институтском вестибюле список фамилий сотрудников, погибших на фронте, занял всю стену. Паек, и так очень маленький, еще сократили. Академик, директор института, выпустил приказ об отмене еженедельных собраний. В большой аудитории от холода покрылись инеем стены, а в один из темных и пустых, по счастью, вечеров обрушилась в актовом зале люстра.

Нестеров теперь все свободное от занятий время проводил в подвале. С каждым днем все тяжелее и мучительнее было забираться на стремянку, стаскивать вниз ящики, поднимать их обратно на стеллажи. У Губкина на руках распухли суставы. Карандаш он мог держать теперь только всей кистью. Он не жаловался, но Нестеров видел, как часто ему приходится менять руки, чтобы дать отдохнуть мышцам. Он не осмеливался спросить, как живет теперь его Маша. Губкин тоже все время молчал, но, как только Нестеров убирал наверх последний ящик, кидался к двери, торопливо прощаясь кивком. Нелепо размахивая для скорости одной рукой и приволакивая ногу, он напоминал теперь не элегантного тайного принца, страдающего от разгульной жизни своих знатных родителей, а торопливого паука, поспешно уползающего куда-то в недра своей паутины. Он исчезал в темноте, а Нестеров еще оставался гасить лампу, запирает дверь, иногда ждать, когда Настасья закончит уборку. Потом он выходил в институтский двор и тоже старался как можно быстрее двигаться в сторону дома. Трамваи после девяти не ходили, путь был неблизкий, а вдоль сугробов была протоптана только узкая тропинка. Нестеров брел и с нежностью думал о Прасковье Степановне. И еще к этим думам примешивался страх, что если он упадет, то неизвестно, сможет ли подняться.

У-у-уф! Натe стало жарко. Так бывало всегда, когда стучать по клавишам приходилось очень быстро. Возникающий в голове текст опережал пальцы. Ната знала это состояние. Оно давало самое большое количество страниц. Мысли, уже записанные и еще не оформленные в слова, носились в голове, создавая картины и путаясь в прошлом и настоящем. Ее сын и муж, присутствуя в сознании подспудно и постоянно, в такое время перемещались на более глубокий уровень, уступая временное место воображаемым героям. И уже не живые люди, а персонажи становились для Наты живыми и значимыми, такими же реальными и почти родными, как свои собственные родные. Нередко Ната работала так по ночам. Как правило, после ночного напряжения наступал довольно никчемный день. Но наступающий день ей уже было не жалко, если накануне из нее лился текст. И тем более что сегодняшняя ночь все равно обещала быть пропащей. Пока это еще Димка с Темой разберутся с гаишниками, вызовут эвакуатор, сгрузят машину...

О-о-о-й! При мысли о машине Натe стало ужасно грустно. Машина была такая хорошенькая! Такая смышленная и быстрая! Ната очень ее любила. Любила сама водить ее иногда, когда Темка уезжал куда-нибудь на метро. Любила сидеть в этой машинке рядом с ним, когда они ехали куда-нибудь вместе, болтать с ним о его девочках, слушать музыку... Боже, как жалко машину! И как получилось с этим ДТП!

Ната вытерла рукой шею. Где, черт возьми, салфетки? Неохота было вставать, идти к кухонному шкафу. Она устала. Устала по-настоящему. На разделочной доске еще белели обваленные в муке котлеты. Еще их жарить... Часы показывали половину второго. Ната на секунду закрыла глаза, потом вздохнула. Взяла себя в руки, встала, нащарила взглядом телефон. Нужно позвонить, как там у мужиков дела? Ната набрала Димкин номер, потом Артема. Никто не отвечал. Наверное, сейчас они оформляют протокол. Значит, часа через полтора уже могут быть дома. Надо ждать. Сколько же нужно терпения! Она прошла в коридор к зеркалу, машинально оттянула кофточку на груди, подула внутрь, чтобы проветриться. Взглянула на медальон на длинной цепочке – ее талисман. Погладила шею под подбородком, подняв голову. Никогда раньше она не думала, что у нее будут морщины, как у других...

Ага! Звонок!

– Дима! Вы как?

Что-то уж очень напряжен его голос.

– Слушай, Нат, у нас тут осложнения... Ты, наверное, давай ложись спать. Судя по всему, мы зависли надолго...

– А что случилось? Почему?

– Ната... Ты только не волнуйся, мне просто нужно время, чтобы разобраться.

– Дим! Тема где?

Интересно, каким это шестым чувством матери понимают, откуда исходит опасность.

– Ната, я говорю, не гони волну раньше времени!

– Дима, рассказывай все как есть!

По ее голосу он понял, что лучше, наверное, сказать правду.

– Нат, я здесь вижу только нашу машину. Темку вроде бы повезли сдавать кровь на алкоголь.

– Куда повезли? В милицию, в больницу? Или в какой-то специальный центр? – Ната почувствовала, что все у нее внутри превратилось в единый сконцентрированный столб. – Дима, это какая-то чепуха. Темка же с тренировки! Он просто не мог быть пьян. Ты выяснил, где он?

– Вот это я и пытаюсь сейчас сделать.

– Как только узнаешь, сразу же сообщи. Я уже одеваюсь.

– Нат, не валяй дурака. От тебя здесь не будет никакого толку. Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, – это позвонить своим знакомым, у кого, возможно, есть какие-то связи с ГИБДД.

– Хорошо... Но ты обязательно мне сообщи, как только что-нибудь узнаешь.

– Конечно.

Единый столб напряжения распался в ней на шарики и проводочки. И все они звенели, гудели, пружинились от волнения. Каждый нерв был наэлектризован опасностью, как будто готов бы взорваться. Опасностью чего? Чего она боялась?

ВСЕГО.

Машинально она вернулась в кухню, в который раз уже за сегодняшний вечер включила чайник, всыпала растворимый кофе в чашку. Ну что же все-таки это за жизнь, когда всего боишься? Не знаешь, чего бояться, а все-таки страх караулит тебя, пронизывает всю твою сущность. Не знаешь, где подстелить соломинку... И ведь никакая она не Прасковья Степановна из ее же собственного рассказа, откуда этот страх?

С матерью Ната никогда не говорила о войне, о Сталине... Мать уже родилась в середине пятидесятых. А вот у бабушки Ната бы выпросила, поживи бабушка подольше... Впрочем... Мать как-то обмолвилась, что у бабушки было три любимых «не». «Не болтай», «Не смотри в чужие окна», «Не нужно об этом говорить». А вот на фотографиях начала пятидесятых годов лица у бабушки и дедушки такие открытые, такие веселые... Есть в этом какое-то несовпадение.

Их семья тогда только переехала с Урала в Москву. Прадеду-академику дали квартиру. Ната хорошо помнила одну фотографию. Лето, фонтан. Бабушка, молодая, сидит на скамейке. Завивка перманент. Цветастое платье с бантом на груди. На ногах носочки и туфли с ремешками через подъем. Это уж потом Ната узнала, что такой фасон называется «Мэри Джейн». А за скамьей стоит дед. На фотографии ему за тридцать. Он в костюме и в рубашке с отложным воротником. А на лицах у всех столько счастья! Столько счастья...

Ната растерянно листала электронный телефонный список. Кому она может позвонить в полвторого ночи? Она позвонила бы без всяких угрызений совести любому, если бы только знала кому. Не будешь будить всех с вопросом: нет ли у вас знакомых в ГАИ?

Впрочем... Впрочем, взгляд сам остановился на одном имени. Лида. Лидия Смирнова. Они когда-то учились в одном классе, встречались в прошлом году в ресторане на юбилейной годовщине их выпуска. Лидка стала врачом, трудилась, кажется, в Склифе. Ну да, точно. В Институте травматологии. Вот же записаны телефоны. Домашний, рабочий... Как она могла забыть? Наверное, через нее можно узнать про экспертизу. Как ее делают? Куда везут людей? И собственно, самое главное: кто интерпретирует эти данные? А может, у Лидки есть кто-то и в ГАИ? Они же там, наверное, связаны с транспортом, все такое...

Ната лихорадочно набрала домашний номер. Ответил мужчина. У него был сонный голос.

– Извините, что я так поздно...

– Лидия Васильевна сегодня дежурит. Звоните в отделение.

Как он догадался, что ей была нужна именно Лидка?

– Извините тысячу раз, мне срочно. Иначе не стала бы беспокоить...

Он отключился. С другой стороны, может он очень сильно сегодня устал...

Мобильный телефон Лидки не отвечал. По отделенческому она тоже долго звонила несколько раз, пока кто-то из жалости или случайно не взял трубку.

– Лидия Васильевна на операции, перезвоните часа через два.

У-у-ф-ф! Ната отложила телефон, рассеянным взглядом обвела кухню. Котлеты! Да, котлеты... Больше звонить пока некуда, надо все-таки с ними покончить. Когда они все наконец вернутся, котлетки могут оказаться очень кстати.

– Господи, ну почему все молчат?

Когда последние румяные, с аппетитной поджаристой мясной корочкой котлеты лопаткой были переброшены в миску, опять зазвонил Димкин телефон. Ната собрала силы. Только бы не сорваться, не начать истерить. Она должна казаться спокойной.

– Дима, ну что?

– Я его нашел. Он в лаборатории. Сдал анализы крови и мочи.

– Какой результат?

– Пока неизвестно, но с виду Темка совершенно трезв.

– Зачем же его тогда отправили на экспертизу?.. Как это может быть?

– Нат. Не задавай глупых вопросов. Пока он там сидит, я быстро приеду домой. У нас вообще дома есть деньги?

– Дим, я сейчас посмотрю... А сколько надо? У меня на карточке есть, но нужен круглосуточный банкомат...

– Собери все, что есть, пока я еду.

– Дим? Что вообще происходит?

– На месте все расскажу.

– Но самое главное – Темка здоров?

Муж как-то замялся.

– Ну с виду, да. Вообще я его предупредил, чтобы он вел себя тихо. Но он по неопытности, кажется, стал возражать...

– Вот, Дима! Я тебе говорила... – не выдержала она.

– Что ты мне говорила?! – Он заорал и сразу же отключился. Ната вздохнула. Действительно, что она говорила? Ничего толком она не говорила. О-о-ой, только бы уже все как-нибудь обошлось...

Когда у Наты в детстве поднималась температура, ей виделся один и тот же странный и прекрасный город. Странный – потому что в том возрасте, в каком это все с ней было, наяву она видеть его никак не могла. Это уже позднее, когда они ездили путешествовать с Димкой, внезапно вылезал, как из ее снов, то какой-нибудь уголок Рима, то набережная Барселоны с пальмами и лесом мачт... И Ната тогда думала, откуда она это все знает? Не видела ли это в какой-то прошлой жизни? Симптом дежавю – откуда он все-таки берется? Из какого причудливого сплетения нейронов?

Но постепенно прекрасный город ушел из ее снов, заместился будничными делами. Нате это было ужасно жаль. Иногда, ложась спать, особенно, когда Димки почему-либо не было рядом, она закрывала глаза и просила: приснись! Там, в этом городе, было так замечательно! Так солнечно и спокойно! Она всегда находилась немножко в стороне. По заполненным светом улицам, не замечая ее, ходили веселые, красивые, нарядно одетые люди. Там не имелось машин, рекламы и транспарантов. Вдоль домов росли прекрасные высокие деревья. Город был чист, тих и всегда залит солнцем. В нем великолепно дышалось. И постоянно на ней в этих снах были какие-то невесомые, развевающиеся белые одежды... Белые одежды! Как причудливо работает сознание. Димка сегодня вечером сказал, что так назывался какой-то роман. Она не читала, какая жалость... Но, пожалуй, только в том фантастическом городе она чувствовала себя бесконечно, бесконечно свободной.

Ната очнулась. О чем она думает, когда их сыну угрожает опасность? О каких-то городах и белых одеждах. Наверное, это ненормально. А может, наоборот, подсознание охраняет ее от опасности? Наверно, это паранойя – везде видеть опасность. Но, с другой стороны, как называется этот симптом, когда люди опасности не замечают? А ведь они привыкли к опасности. В чем она? Во всем. В темных переулках, в экзаменах, в душном воздухе, в каком-то дурацком пальмовом масле... В жизни Нестеровых была реальная опасность. А в ее жизни? Пожалуй,

когда была студенткой, она тревожилась меньше всего. А в школе ужасно боялась, что вызовут, и вдруг скажет что-нибудь не то перед всем классом... Или опозорится на физкультуре, если не сможет подтянуться на брусьях... А когда уже родился Тема – боже, как это стало страшно! Вдруг она сделает что-нибудь не так, вдруг Тема заболеет, вдруг она его уронит, сломает ему что-нибудь... И ей казалось, что бояться все вокруг. Особенно за детей. Как выкормить, вылечить, выучить... А если ты за все это не боишься, то тогда это уже патология, а не норма...

И еще было бы счастье, чтобы дожить до старости, увидеть внуков. Чтобы никого никогда на твоих глазах не ограбили, не избили, не убили... Да, она волновалась всегда. И не только за Тему. За мужа. Не пришел вовремя с работы – вдруг что-то случилось по дороге. В плохом настроении – вдруг что-то с работой? И постоянно все эти ужасные – вдруг, вдруг, вдруг. Наверное, это в ней привычный страх ее народа, ее страны. Не высовывайся, не обнажай душу, не признавайся. Страх поколений, вошедший в подсознание. И неужели же она не сможет его победить?

Ната потеряла лоб. Нужно одеваться. Сейчас приедет муж. И никуда она его одного больше не пустит. Еще не хватало, чтобы без нее они с Темкой натворили каких-нибудь глупостей...

Ната вдруг подумала о Прасковье Степановне. О том, как она сидит в темном холодном доме, смотрит на часы и ждет мужа. Как медленно передвигаются стрелки, когда его нет. И как быстро они бегут, когда ее Нестеров с ней. А без него с ней рядом собака. Ната будто увидела, как Прасковья Степановна вытягивает руку из кучи наваленной на нее одежды и опускает к полу. Нашупывает собачью голову, гладит ставший костлявым лоб и твердые холодные уши. Разве это правда, что, когда овчарка расслаблена, уши у нее не стоят, а опускаются, как сочни для пельменей? Ната подумала: правда. Она сама видела, когда овчарки сидят в покое дома со своими хозяевами, уши у них опускаются по бокам головы. И мгновенно снова поднимаются при любом постороннем звуке.

Она вдруг сказала:

– Дим, давай заведем собаку?

Они уже ехали по ночной Москве. Как это проскочило мимо ее сознания, как Димка пришел, как она отдала ему деньги, заперла дверь квартиры и вышла вместе с ним из подъезда... Вот что значит – задуматься.

Димка не выдержал, повернул к ней голову.

– Мать, ты с ума сошла? Ну, очень вовремя.

Она вздохнула, посмотрела в окно. Ей показалось, что вдоль дороги по темному тротуару бежит чья-то мягкая четвероногая тень.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.